



М. И. РОММ

Четыре встречи с Хрущевым

До конца 1962 года, до декабря, мне не приводилось лично видеть и слышать Хрущева. Правда, мы живем в век газет, радио и телевидения, и эти могучие технические изобретения давали возможность мне ознакомиться и с внешностью Хрущева, и с его манерой говорить, и с трудностями, которые доставляло ему чтение написанного документа, с глубиной его мышления, с обширностью его мыслей. Все, казалось бы, было уже известно. Но все-таки все это не заменяло личных впечатлений, и когда я впервые просто услышал его и увидел его на трех собраниях с интеллигенцией и еще на одном, более ответственном собрании, то впечатление оказалось совершенно неожиданным. Человек оказался гораздо разнообразнее по краскам и, я бы сказал, и по оттенкам, гораздо как-то сложнее и необыкновеннее. И некоторые его стороны вызвали просто изумление.

Надо вам сказать, что я как раз до этого времени принадлежал к числу поклонников Хрущева. Меня даже называли «хрущевцем». Я был очень вдохновлен его выступлением на XX съезде, мне нравилась его человечность — да все знают, что в нем было хорошего, не буду этого повторять. Я старался ему прощать все, так сказать. Правда, иной раз попадались какие-то такие необыкновенности, которые заставляли оторопеть. То вдруг на одном из митингов он говорит: «Идеи Маркса — это, конечно, хорошо, но ежели их смазать свиным салом, то будет еще лучше». Это, конечно, мне в голову никак не приходило, что идеи Маркса можно смазать свиным салом.

Потом что-то с займами, с МТС, с облбсовнархозами, с кукурузой, что-то все начало больше и больше удивлять. Но тем не менее рядом с этим какие-то прекрасные вещи. То он ботинком по пюпитру стучит во время заседания ООН, то он себя очень интересно за границей

ведет, то еще что-нибудь хорошее. Все это перемежалось, а, в общем, мне казалось: да ведь тем не менее человек; мы часто говорили с Лелей: «Ну, ведь все-таки это лучше, чем когда бы то ни было, да и уж очень человечен, — приятно все-таки, и дышится свободнее», — то, другое, третье. Ну, есть же такое свойство у наших соотечественников: восхищаться на всякий случай начальством, его еще Салтыков-Щедрин отметил в «Истории одного города», что каждый новый градоначальник был душенька и красавчик.

Про Хрущева сказать «красавчик» было нельзя, но «душенька» — говорили. Говорили все, ну и я тоже говорил. Ну, не красавчик, но душенька. Вот!

Правда, один раз я с разбегу как-то споткнулся. Это было как раз в тот период, когда в газетах ежедневно по крайней мере одна, а то и две полосы занимались очередными речами Никиты Сергеевича. Читать их не было никакой возможности, просто не хватало рабочего времени.

Но тут как раз я прочел о совещании работников сельского хозяйства Костромской области, и об один абзац просто ударился лбом — так он меня поразил. Секретарь обкома говорит: мы очень благодарны вам, Никита Сергеевич, за вашу рекомендацию сеять вместо кормовых трав и кормовых культур кормовую свеклу и сахарную свеклу. Мы непременно это выполним, и так как у нас в области никогда свеклу не сеяли, то мы посылаем двадцать бригад на Украину для обмена опытом со свекловодами Украины.

И вдруг Хрущев ему с места: «Вот уж не поверю, что русский мужик не умеет сеять свеклу. Ведь борщ — национальное русское блюдо, и уж что-то, а свеклу-то он знает и умеет сажать. И зачем вам эти бригады, непонятно?» (Смех в зале.)

Ну, смех я понял, я сам чуть не икнул, когда прочел. Я очень мало понимаю в сельском хозяйстве, но разницу между кормовой свеклой и красной огородной, из которой варят борщ, знает любая домохозяйка, и я знаю. Мне тоже приходилось резать красную свеклу и видеть сахарную свеклу и кормовую свеклу. Из кормовой свеклы борщ нельзя варить, ею кормят свиней. Ну, ею и кормили, как свиней, наших военнопленных в Германии во время войны. Вот это я знаю. Но как этого не знал Хрущев, это меня потрясло. Мне казалось, что секретарь обкома должен был ему сказать: «Позвольте, это же не красная огородная свекла, из которой варят борщ, а кормовая свекла. Это полевая культура, агротехника совсем другая. И кроме того, борщ — не русское национальное блюдо, а украинское блюдо».

Но секретарь обкома, к моему изумлению, сказал: «Совершенно согласен с вами, Никита Сергеевич».

Опять смех в зале. Вот этот смех в зале и то, что секретарь обкома не посмел сказать Хрущеву, поразило меня больше, чем невежество Хрущева в вопросах свеклы. Я подумал: как же он может руководить!.. Да черт его знает, такие мысли стали приходиться в голову. Я стал тогда внимательно читать не столько речи Хрущева, сколько как отвечают на его импровизации.

Три месяца я не мог отделаться от этой кормовой свеклы, ночью она мне даже снилась. А тут вдруг — «рязанское чудо». Ну, оно затмило кормовую свеклу.

Но тем не менее в области культуры дела шли хорошо, дышалось свободно, искусство двигалось вперед, и мы продолжали время от времени говорить друг другу: «Он, правда, не красавчик, но душенька, душенька».

Так шло до декабря шестьдесят второго года. Свобода делалась все как-то ощутимее, и я в нее как-то уверовал, даже выступил на конференции Института истории искусств в ВТО¹ и так разделал Грибачева, Кочетова и Софронова, что стало мое выступление ходить по рукам в качестве подпольного чтива, а на меня были поданы жалобы в Президиум ЦК. Дела мои сильно в этот момент пошатнулись. А тут как раз оказалось, что очень уж вовремя я выступил с этой речью, потому что буквально через неделю состоялось знаменитое посещение Манежа, где Хрущев, как мне рассказывали, топал ногами, обрушился на левое искусство, заодно на всю культуру, на молодых поэтов.

Я знал абстракционистов, которые вызвали гнев, бывал у них в мастерских. Интересные были ребята, самоотверженные, голодные и бесконечно преданные своему делу. В малюсенькой комнатке, восемь квадратных метров, продавленная тахта, тут жена, полуторагодовалая девчонка — дочь, и тут же, на краешке стола, он пишет свои полотна. И ничего в доме нет кроме хлеба и кипятка и молока для ребенка. Я был у Неизвестного — малюсенькая мастерская в переулке на Сретенке, где когда-то помещались публичные дома и тут была какая-то лавчонка для проституток. Малюсенькая, грязная, старая, сырая, в нее напиханы эти его мраморы и граниты, и гипсы. Тесно ему, монументальный ведь скульптор. Я чувствую, что негде, негде ему делать. Он все уменьшает, он не может там развернуться. Лесенка наверху, на крошечную мансарду какую-то, где его рисунки валяются на полу, и тут же койка железная.

Видел я их. Сердце сжалось. Стали собирать подписи под письмом, чтобы не очерд их били. Я подписал, уже было подписано это письмо Фаворским, Эренбургом, еще многими.

Но тревожное было такое время, тучи стали сгущаться над Хрущевым, над Эренбургом. Да тут еще на молодых поэтов гроза

пошла, и вот в этой обстановке, когда непонятно было, куда же склонится эта чаша весов, вот тут и состоялась первая встреча, прошу извинить за длинное предисловие.

Вот именно в это время, в декабре шестьдесят второго года, я получил пригласительный билет на прием в Доме приемов на Ленинских горах² — там, где эти знаменитые особняки, там Дом приемов.

Приехал. Машины, машины, цепочка людей тянется. Правительственная раздевалка. На втором этаже анфилады комнат, увешанные полотнами праведными и неправедными. И толпится народ, человек триста, а то, может быть, и больше. Все тут: кинематографисты, поэты, писатели, живописцы и скульпторы, журналисты, с периферии приехали, — вся художественная интеллигенция тут. Гудит все, ждут, что будет.

А в двери, которые ведут в главную комнату — комнату приемов, — видны накрытые столы: белые скатерти, посуда и яства. Черт возьми! Банкет, очевидно, предстоит! Что же это, смягчение, что ли? Ради чего ж накрытые столы?

Смотрю, тут и абстракционисты. Смотрю, рядом с Неизвестным мелькают и другие художники, которых я знал и которых ожидало, как казалось, неминуемое наказание какое-то. А тут вдруг банкет.

Но вот среди этого гула, всевозможных взаимных приветствий и вопросительных всяких взоров появляется руководство, толпа устремляется к Хрущеву, защелкали камеры. Разумеется, тут же выросла фигура Михалкова: откуда ни щелкнет репортер, непременно рядом с Хрущевым Михалков, ну еще тут же Шолохов, Грибачев и какой-то человек с подергивающимся лицом — не знал я, кто это. Спросил. Оказывается — Вучетич, у него нечто вроде тика.

Ну, ладно. Хрущев беседует как-то на ходу, направляется в эту самую главную комнату, все текут за ним. Образуется в дверях такой водоворот из людей. Все стараются поближе к Хрущеву, туда поскорей. Тут я вижу — и Левчук с Украины, и какие-то еще приезжие казахи, узбеки, — все туда, туда, туда. И, как пылесос, эта главная комната с какой-то удивительной быстротой всасывает людей.

Я решил в эту толкучку не путаться, но не прошло и минуты — смотрю, все уж там. Вхожу, уже все места заняты. Но с одного какого-то дальнего конца мне машут рукой: мне местечко зарезервировали. Оказывается, как раз молодые художники. И так между ними я сел в середине. А на другом конце Хрущев.

Ну, и художники-то ведь голодные. А перед ними осетрина, семга, лососина, индейка нарезанная, какие-то поразительные салаты, виноградные соки и тому подобное.

Ну, расселись все. С одного конца раздался такой звоночек, что ли. Встал Хрущев и сказал, что вот мы пригласили вас поговорить, мол-де, но так, чтобы разговор был позадушевнее, получше, пооткровеннее, мы будем откровенны с вами, решили вот — сначала давайте закусим. Закусим, а потом поговорим.

Ну, тут все навалились. Значит, разговор будет явно серьезный, а пока жри индейку, лососину, запивай виноградным соком.

Да, еще Хрущев извинился, что нет вина и водки, и объяснил, что не надо пить, потому что разговор будет, так сказать, вполне откровенный.

Понятно...

Ну, примерно час ели и пили. Наконец подали кофе, мороженое. Стали отваливаться. Хрущев встал, все встали, зашумели, загремели стулья, повалил народ в анфилады.

Перерыв.

И вот во время этого перерыва произошло одно любопытное событие. Все, конечно, повалили в уборную. В первом перерыве еще не разделили уборные. Потом-то их разделили: одни для правительства, другие — для всех прочих. Но в этом первом перерыве все шли в любую уборную.

И вот Алов тоже пришел в уборную, стал в очередь к писсуару, народу много, стоит ждет и вдруг слышит сзади голоса: «Проходите, Никита Сергеевич, пожалуйста, Никита Сергеевич, проходите». Оглядывается — батюшки, за ним стоит Хрущев, и все его приглашают к писсуару, так сказать, очищают ему место, а Хрущев: «Да нет, что вы, что вы, я постою». Алова сомнение взяло: «Что же делать? — думает он. — Уступить место? Вроде подхалимаж. Не уступить — тоже неловко». А Хрущев стоит сзади, сопит, переминается с ноги на ногу.

Пока так колебался Алов, писсуар-то и очистился. Он решил быть принципиальным: нет уж, сначала я, а Хрущев пусть подождет. Стал к писсуару, но от волнения, что ли, машинка-то у него не работает. Стоит, стоит — никак начать не может. И чувствует сзади дыхание Хрущева и видит злобные взгляды, которые все бросают на него: вот, мол-де, нахал, стоит у писсуара — и дело не делает, и Хрущева не пускает. Ну, наконец, удалось ему как-то справиться, закончил он операцию, выполз боком, и Хрущев тут же занял его место.

Очень смешно об этом Алов рассказывал. Этот рассказ затмил для меня все воспоминания о перерыве, больше ничего не помню.

Ну, кончился перерыв, все устремились обратно в зал. Уже столы убраны, я уже оказался в другом месте. Началось заседание. Началось с доклада, что ли, Ильичева, я уже не помню. Не хочется

мне его пересказывать, доклады эти печатались, все знают, что там происходило³.

Запомнилось несколько выступлений. И прежде всего, разумеется, выступление Грибачева, потому что оно относилось ко мне. В нем он назвал меня провокатором, политическим недоумком, клеветником и поклялся своими еврейскими друзьями, что он не антисемит. Ну, а заодно разносил Щипачева.

Галина Серебрякова выступала. Суть ее выступления сводилась к тому, что коменданты лагерей были прекрасные коммунисты. Ей, конечно, видней, потому что она сама в лагере жила с одним из комендантов и пользовалась его благосклонностью. Тоже меня поразило это выступление.

Запомнилось наглое какое-то, отвратительно грязное поведение Вучетича.

Запомнилась фигура Ильичева, который все время кивал на каждую реплику Хрущева, потому что все эти выступления перемежались отдельными выступлениями самого Хрущева, его длинными, развернутыми репризами и т. д. Ильичев все потирал руки, беспрерывно кланялся, смотрел на него снизу, хихикал и поддакивал. Очень такое странное [впечатление] было, как будто он его подзуживает, подзуживает, подзуживает. И поддакивал, довольный необыкновенно, прямо сияющий.

А репризы Хрущева были крутыми, в особенности когда выступали Эренбург, Евтушенко и Щипачев, которые говорили очень хорошо.

Вот фигура Хрущева оказалась совсем новой для меня, как я уже говорил. Началось с того, что он вел себя как добрый, мягкий хозяин крупного предприятия. Такой, что ли, лесопромышленник или тамада большого стола — вот угощаю вас, кушайте, пейте. Мы тут поговорим по-доброму, по-хорошему.

И так это он мило говорил — круглый, бритый. И движения круглые. Ну, так сказать, все началось благостно. И первые реплики его были благостные. Он рассказывал про то, как он «Ивана Денисовича» выпустил.

«Вот никто не решался, — говорил Хрущев, — разрешить печатать "Ивана Денисовича", а я приказал напечатать несколько экземпляров, ну и отдал членам Президиума. Собираю Президиум: ну как, товарищи, будем печатать? И что ж вы думаете? Никто ничего не говорит, все молчат. Печатать? Не печатать? Я думаю: а какой же грех от того, что мы напечатаем? Иван-то Денисыч трудится, и в этих обстоятельствах тоже, так сказать, он себя проявляет как трудовой человек. Да пусть будет напечатано. Па-ажалуйста».

И во время этой реплики Твардовский сказал: «А ведь Солженицын-то здесь». Хрущев говорит: «Вот, любопытно познакомиться».

Встал Солженицын. Встал высокий худой человек в потертом дешевеньком костюмчике, с мрачным и совсем невеселым, болезненным лицом. Неловко как-то поклонился, сел.

Странное впечатление он произвел. Это был момент еще добродушного разговора, и его настороженный взгляд, его горящие какие-то глаза, и это болезненное лицо, и выражение мрачной тревоги на лице поразили меня. Я думаю: даже не улыбнулся он, нет. Поклонился — сел.

Так вот, сначала был такой благодостный хозяин. А потом постепенно как-то взвинчивался, взвинчивался... И обрушился он раньше всего на Эрнста Неизвестного. Трудно было ему необыкновенно. Поразила меня старательность, с которой он разговаривал об искусстве, ничего в нем не понимая, то есть ну ничего решительно. И так он старался объяснить, что такое красиво и что некрасиво, что такое понятно для народа и непонятно для народа. И что такое художник, который стремится к «коммунизму», и художник, который не помогает «коммунизму». И вот какой Эрнст Неизвестный плохой. Долго он искал, как бы это пообиднее, пояснее объяснить, что такое Эрнст Неизвестный. И наконец нашел — нашел и очень обрадовался этому, говорит:

«Ваше искусство похоже вот на что: вот если бы человек забрался в уборную, залез бы внутрь стульчака, и оттуда, из стульчака, взирал бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет. На эту часть тела смотрит изнутри, из стульчака. Вот что такое ваше искусство — ему не хватает доски от стульчака, с круглой прорезью, вот чего не хватает. И вот ваша позиция, товарищ Неизвестный, вы в стульчаке сидите!»

Говорит он это под хохот и под одобрение интеллигенции творческой, постарше которая, — художников, скульпторов да и писателей некоторых.

Вот так. И тут же: «И что это за фамилия — Неизвестный? С чего это вы себе псевдоним такой выбрали — Неизвестный, видите ли. А мы хотим, чтобы про вас было известно».

Неизвестный говорит:

— Это моя фамилия — Неизвестный.

А ему:

— Ну что это за фамилия — Неизвестный!

Вот этот контраст — от начала к этому — произвел на меня ну просто странное впечатление.

И в таких репликах, то злых, то старательно педагогических, прошло уже два или три часа. Все устали. Видим мы, что ничьи выступления, ни Эренбурга, ни Евтушенко, ни Щипачева — очень хорошие, — ну просто никакого впечатления, отскакивают, как от стены горох, ну ничего, никакого действия не производят. Взята линия, и эту линию он старается разжевать.

Наконец, берет заключительное слово. Из этого заключительного слова запомнились мне несколько абзацев.

Начал он его опять же мягко.

— Ну вот, — говорит он, — мы вас тут, конечно, послушали, поговорили, но решать-то будет кто? Решать в нашей стране должен народ. А народ, это кто? Это партия. А партия кто? Это мы. Мы — партия. Значит, мы и будем решать, я вот буду решать. Понятно?

— Понятно.

— И вот еще по-другому вам скажу. Бывает так: заспорит полковник с генералом, и полковник так убедительно все рассказывает, очень убедительно. Да. Генерал слушает, слушает, и возразить вроде нечего. Надоест ему полковник, встанет он и скажет: «Ну, вот что, ты полковник, я — генерал. Направо кругом, марш!» — и полковник повернется и пойдет — исполнять! Так вот, вы — полковники, а я, извините, — генерал. Направо кругом марш! Пожалуйста!

Вот такое заключение. Или вот еще другое:

— Письмо тут подписали. И в этом письме, между прочим, пишут, просят за молодых этих левых художников, и пишут: пусть работают и те, и другие, пусть-де, мол, в изобразительном нашем искусстве будет мирное сосуществование⁴. Это, товарищи, грубая политическая ошибка. Мирное сосуществование возможно, но не в вопросах идеологии.

Эренбург ему с места:

— Да ведь это была острота! Никита Сергеевич, это в письме такой, ну, что ли, шутливый способ выражения был. Мирное же письмо было!

— Нет, товарищ Эренбург, это не острота. Мирного сосуществования в вопросах идеологии не будет. Не будет, товарищи! И это я предупреждаю всех, кто подписал это письмо. Вот так!

Долго длилось, часа два, это выступление, но никак я не могу вспомнить, чего еще он говорил. Стихи даже читал какого-то шахтера. Он все старался объяснить, какое искусство хорошее, и, в частности, привел стихи, такие плохие стихи, что диву даешься. Запомнил их, очевидно, с молодости, с тех пор стихов-то не читал. Вот, стихи прочитал, шахтер написал. Правда, шахтер не очень грамотный, но вот стихи хорошие по содержанию. И вот

как красиво рисуют одни художники. Вот там есть автопортрет товарища такого-то — залюбуешься, красавец. А посмотрите, что эти пишут! Жутко смотреть. Ну вот, а в заключение еще раз я вам скажу, кто теперь будет решать. Такой хороший писатель был Винниченко, кто не читал, советую прочесть, прекраснейший писатель.

Он вообще неоднократно на всех этих встречах рекламировал Винниченко, уж не знаю почему. Винниченко ведь был правым эсером, антисоветским крупным деятелем, украинским националистом, был даже министром при одном из каких-то антисоветских правительств на Украине. Я вот не знаю, знал ли это Хрущев, но, во всяком случае, этот убогий писатель антисоветский ужасно ему понравился почему-то, вероятно, потому, что он в молодости его читал; уж не знаю, читал ли он что-нибудь после этого. Но вот у него осталось где-то в сердце — Винниченко. И говорит он вот что:

— Есть у этого Винниченко такой рассказ, называется он «Маленький Пиня». В этом рассказе излагается, как в тюремной камере сидят семь... И делают они подкоп. Вот сделали подкоп, а кому первому лезть? Ведь страшно. Самое опасное — тому, кто первый полезет. Никто первым лезть не хочет. А был в камере самый маленький, незаметный, тихий арестантик, которого называли «маленький Пиня». И вот предложили ему: «Ну, Пиня, лезь первый». И Пиня полез первый. Но прежде чем полезть, он сказал: «Раз уж мне лезть первым, я буду командовать: ты делай то-то, ты — то-то, то-то», — и стал над ними начальником. Так вот, я, — сказал Хрущев, — маленький Пиня, и я теперь вами командую.

Ну, надо сказать, байка эта была не очень рассчитана Хрущевым. У нас она отклика никакого не получила, не была опубликована, но за границей множество газет поместило отчет об этом собрании на Ленинских горах, и там содержалось вот это самое дело, что Хрущев назвал себя «маленьким Пиней», и стали его называть на Западе «маленьким Пиней» в газетах, и Хрущев стал на это обижаться, может быть, потому, что он поздно выяснил, что Пиня — это Пинкус, имя-то еврейское. Так или иначе, «маленький Пиня» стал знаменит. Когда Хрущев был снят, западногерманский журнал «Штерн» посвятил этому событию полномер. Открывался этот номер огромным портретом Хрущева, над которым было написано: «Маленького Пини больше нет». А на второй странице опять портрет Хрущева и громадный заголовок: «Самый разговорчивый политический деятель современности ушел со сцены, не сказав ни слова». Вот так.

Ну, словом, вот так закончилось это заседание на Ленинских горах. Расходились все сытые, но тревожные, со смущенной ду-

шою, не понимая, что будет; дела после этого пошли плохо, стали завинчиваться гайки, Косолапов был снят⁵, «Литературная газета» превратилась в «Лижи», назначен был туда Чаковский, стали помещаться письма, разоблачительные статьи. В общем, начался разгром. Всем провинившимся пришлось лихо в это время. И мне пришлось довольно лихо. Главным образом за мое выступление в ВТО. Ведь Грибачев-то был кандидатом в члены ЦК, а Кочетов — членом Ревизионной комиссии ЦК. Заявление они подали прямо в Президиум ЦК, дело должно было разбираться, стали вокруг меня снова — уже не первый раз в жизни — собираться тучи. Вызвал меня Поликарпов, злой, как хорек.

До этого заседания, посещения Манежа и прочее он собирался уже было на пенсию уходить, но тут пришлось к месту, снова расцвел, выдвинулся, получил повышение⁶, начал расправы.

Произошло у нас объяснение. Предложено мне было уйти из ВГИКа, но незаметно уйти, после весенней сессии, так — дотянуть и смыться. Ну, разумеется, из Союза тоже.

А дело мое готовилось к разбору. И решил я применить испытанное тут средство: заболеть. Поехал на дачу и заболел на полтора, даже два месяца. Сидел на даче, отсиживался. Приказано мне было написать объяснение по поводу этого моего выступления, этого «клеветнического». Не писал я этого объяснения, долго тянул. Потом написал. Ошибок не признал. Признал резкость формы, а по содержанию привел множество доказательств того, что я был прав в отношении Кочетова, и Грибачева, и Софронова, в отношении антисемитских погромов в свое время, во времена космополитизма. Помогло мне в этом множество людей, которые собирали для меня материал.

Ну, так вот я сидел, сидел, дожидался все смягчения. Но смягчения не дождался. Напротив, гайки завинчивались все туже. Надоело мне. Решил поехать в Москву — пусть будет, что будет. Разбирательство — так разбирательство.

Приехал, жду, что дело мое будет разбираться. А оно все не разбирается. И вдруг приходит снова повестка — письмо: снова приглашают меня на какое-то совещание творческой интеллигенции с руководством. Но на этот раз совещание не на Ленинских горах, а в Кремле, в Свердловском зале. Вот это и была вторая встреча с Хрущевым, о которой пойдет речь ниже.

Итак, вторая встреча — встреча в Свердловском зале.

Продолжалась она два дня, в один день не уложились. Началась с утра.

Пришел я в Кремль, в Свердловский зал. Те же люди, та же творческая интеллигенция, только вдвое больше народу. На Ленинских

горах было человек триста, а здесь шестьсот, а то и шестьсот пятьдесят. И мелькают между знакомых лиц какие-то неизвестные молодые люди в скромных темных костюмчиках, аккуратных воротничках. Обстановка сугубо официальная. Зал идет амфитеатром, скамьи. А напротив на специальном возвышении места для президиума, трибуна для выступающего. Аккуратный, красивый, холодный зал.

Расселись все. Ясно было, что идет продолжение. Никто особенно хорошего не ждал. Расселись все, и молодые люди расселись — так, по всему залу. Куда ни поглядишь, недалеко сидит аккуратненький, внимательный.

Посидели-посидели — вышел Президиум ЦК. Хрущев, за ним остальные. Козлов виден тут, аккуратно завитой, седоватый, холодный. И Ильичев.

Встали все, ну, поаплодировали друг другу. Сели. Тишина. Настороженная тишина. Ждем.

Встает Хрущев и начинает:

— Вот решили мы еще раз встретиться с вами, вы уж простите, на этот раз без накрытых столов, без закусок и питья. Мы, было, хотели на Ленинских горах, но там места мало, больше трехсот человек не помещается. Мы решили на этот раз внимательно поговорить, чтобы побольше народу послушало. Ну вот приходится собираться здесь. Но в перерывах тут будет буфет — пожалуйста, покусайте.

Опять начинает как благодущный хозяин.

— Погода, говорит, сейчас, к сожалению, плохая. Зима, промозгло так, не способствует она такой сердечности атмосферы. Ну ничего, поговорим зато серьезнее. Но вот следующую встречу мы намечаем провести в мае или июне, солнышко будет, деревья распустятся, травка — тогда уж мы встретимся по-сердечному, тогда разговор будет веселее. Но сейчас вот так приходится, по-зимнему. Вот так.

Помолчал. Любил он погоду на помощь себе призывать, когда выступал. Всегда она ему помогала. Солнышко или его отсутствие.

Помолчал. Потом вдруг, без всякого перехода:

— Добровольные осведомители иностранных агентств, прошу покинуть зал.

Молчание. Все переглядываются, ничего не понимают: какие осведомители?

— Я повторяю: добровольные осведомители иностранных агентств, выйдите отсюда.

Молчим.

— Поясняю, — говорит Хрущев. — Прошлый раз после нашего совещания на Ленинских горах, после нашей встречи, на завтра же

вся зарубежная пресса поместила точнейшие отчеты, значит, были осведомители, холуи буржуазной прессы! Нам холуев не нужно. Так вот, я в третий раз предупреждаю: добровольные осведомители иностранных агентств, уйдите. Я понимаю: вам неудобно так сразу встать и объявиться, так вы во время перерыва, пока все мы тут в буфет пойдем, вы под видом того, что вам в уборную нужно, так проскользните и смойтесь, чтобы вас тут не было, понятно?

Вот такое начало.

Ну, а потом пошло, пошло — то же, что на Ленинских горах, но, пожалуй, хуже. Уже никто возражать не смел. Щипачеву просто слова не дали. Мальцев попробовал было что-то выкатать про партком Союза писателей, на который особенно нападали, но его стали прерывать и просто выгнали, не дали говорить.

Эренбург молчал, остальные молчали, а говорили только вот те — грибачевы и софроновы, васильевы и иже с ними. Говорили, благодарили партию и правительство за помощь. Благодарили за то, что в искусстве, наконец, наводится порядок и что со всеми этими бандитами (иначе их уже не называли — абстракционистов и молодых поэтов), со всеми этими бандитами наконец-то расправляются.

Кто-то сказал из этих: мы где в Европе ни бывали, всюду находили следы поездок этих молодых людей, которые утюжат весь мир. Утюжат и всюду болтают невесть что, и наносят нам вред.

Ермилов что-то сказал галопом, еще какие-то люди. И общей темой было, что нет у нас противопоставления поколений, дружно у нас работают оба поколения и мерзавец тот, кто заявляет, что есть два поколения. И говорили это все главным образом старцы, и при этом рубали на котлеты более молодых.

Вот так шло это заседание.

Шолохов вышел, помолчал, маленький такой, чуть полнеющий, но ладно скроенный, со злым своим, незначительным лицом, и коротко сказал:

— Я согласен, говорить нечего, я приветствую.

Повернулся и сел.

Вот так шел этот первый день, и, признаться, я запомнил, какие выступления были в первый день, какие — во второй день. Два было ключевых, я бы сказал, выступления. Одно — это жены Корнейчука, как ее там? Ванды Василевской. Она сделала такой аккуратный партийный донос в очень благой форме. И сообщила она, что ей польские партийные товарищи сообщили, с возмущением сообщили, что Вознесенский давал интервью в Польше вместе с группой молодых поэтов и в этом интервью был задан вопрос, как он относится к старшему поколению, как

с поколениями в литературе? И он-де ответил, что: я не делю литературу по горизонтали, на поколения, а делю ее по вертикали; для меня Пушкин, Лермонтов и Маяковский — мои современники и относятся к молодому поколению. Но к Пушкину, Лермонтову и Маяковскому, к этим именам, он присовокупил имена Пастернака и Ахмадулиной. Ну, и из-за этого разгорелся грандиозный скандал. Это было уже во второй день, по-моему.

А в первый день, если я не ошибаюсь, было еще выступление Пластова, очень забавное. Вышел такой человек с проборчиком, скромненький, не молодой и не старый, глуховатый, или при-творившийся глуховатым, с простонародным говорком таким, и начал, непрерывно кланяясь, благодаря партию и правительство, и лично Никиту Сергеевича Хрущева, рассказывать самые удивительные истории.

Начал он так:

— Вы знаете, Никита Сергеевич, после того заседания на Ленинских горах я, воодушевленный, восхищенный, старался запомнить все. Ведь это ж историческое событие. И вот, записал себе заметки и поехал к себе, где я живу (я живу далеко, в глубинке, там у нас совхоз, колхоз когда-то был), еду и в поезде все повторяю, чтобы не забыть, и ваши слова, и слова товарища Ильичева, и что говорилось, и как говорилось. Приезжаю, ну, меня на станции на санях встречает Семен, он старик уже теперь, окладистый. Когда-то я его пастушенком написал. Приятель мой. Сел я, и все жду, что он заговорит со мной об этом великом событии на Ленинских горах. А он все не заговаривает, не заговаривает. Так, говорит, кто болен, кто здоров, кто умер, кто жив, — как, что.

Я ему говорю: «Что ж ты меня не спрашиваешь про событие-то?» — «Какое событие?» — «Ну, на Ленинских-то горах совещание интеллигенции с правительством, художников». Он говорит: «А что, тебе влетело, что ли?» Я говорю: «Да нет, я, наоборот, на коне, другим влетело — абстракционистам, они оторвались от народа». Он говорит: «Как — оторвались от народа? Они что, из иностранцев или графов?» — «Да нет, свои, но оторвались, говорю. Да вы что, газеты-то читаете?» А он мне: «Которые читаем, которые так раскуриваем».

Приехал я к себе, ну никто ничего не знает, Никита Сергеевич. Там не только что абстракционизм или там сюрреализм, там и что такое реализм, никто не понимает. Учительша ко мне пришла, просит: «Дайте мне хоть Репина какую-нибудь репродукцию, показать ребятам. Я же не знаю, чего объяснять-то».

Ну, собрались мужики, я им говорю, они говорят: «Ты поговори с таким-то, с Удиновым, он на почте работает, он все читает,

все знает, мы в этом деле не понимаем». И спрашивают меня: «А что этим художникам, платят?» Я говорю: «Платят». «И хорошо платят?» — «Да платят». Они говорят: «Это чудно, мы вот уж который месяц только галочки ставим, зарплату не получаю, а тут, оторвавшись от народа, а платят!»

И вот в этом роде он все говорил. Его Хрущев пытался прерывать, вставляя замечания, он повернется: «Ась? Да-да, вот я и говорю!»

Вот, например, такой эпизод:

— Приказали мне доярку такую-то написать. Я посмотрел на нее и в фас, и в профиль. Ну, ничего нет в ней ни героического, ни романтического, ни реалистического, — ну как ее писать?

Хрущев его прерывает:

— Я б ее так на вашем месте написал, чтобы эта самая доярка была бы и героической, и романтической, — вот что такое искусство.

Пластов приставляет руку к уху:

— Ась? Ну, вот-вот, я и говорю, Никита Сергеевич, ничего в ней нет ни героического, ни романтического, писать-то и невозможно.

Хрущев опять:

— Да я говорю — ее так можно написать...

Пластов:

— Вот я и говорю: нет в ней ничего, Никита Сергеич. А вот, помню, писал я соседку — коз она у меня пасла, во время войны еще было, — поразило меня трагическое выражение лица. Пишу день, пишу два, пишу три, но времени-то мало — днем пасет коз, пригонит, уж скоро темнеет. Затянулся немножко портрет. Вот однажды она меня и спрашивает: «Скажи, долго ты еще портрет-то будешь делать?» Я ей говорю: «Да дня четыре». Она говорит: «Как бы мне не помереть к воскресенью». Да и померла.

Из зала ему:

— От чего?

Он говорит:

— От голода.

И такую он стал картину деревни рисовать, все поддакивая Хрущеву и говоря: «Спасибо вам, Никита Сергеич», — клуба нет, спирт гонят цистернами, все безграмотные, в искусстве никто ничего не понимает. Эти все совещания никому не нужны. Такую картину постепенно он обрисовал, что жутко стало... Жутко стало. И по сравнению с этим рассказом и «Вологодская свадьба»⁷, и «Матренин двор»⁸ просто показались какой-то идиллией, что ли.

Рассказывает он, как иллюстрировал Успенского. Пришел на сенокос мужиков зарисовывать, эскизы делать косцов. Ну вот,

делает он наброски все эти, потом в полдень они собрались, смотрят рисунки, говорят ему: «Скажи-ка, тебе сколько за это платят?»

— Мне неловко им сказать, это ж сталинское время. Конечно, время было тяжелое, но скажу прямо: платили хорошо. Не скрою, Никита Сергеевич, трудное было, но платили, уж платили! (Платили, между нами говоря, много).

Вот один и спрашивает: «Ну, по пятерке-то платят?» Другой говорит: «Ну да, станет он за пятерку чикаться, небось десятку!» А мне платили пятсот за штуку. Я говорю: «Поднимай выше!» — «Неужто четвертной?» Мне совестно стало, я говорю: «Четвертной». — «Ну, смотри-ка, молодец! Нам сколько нужно намахаться, чтобы четвертной-то выработать! Пожалуй, месяца два махать».

Вот так он все продолжал, говорил, а закончил он так:

— Надо, братцы, бросать Москву, надо ехать на периферию всем художникам, на глубинку. Там, конечно, комфорта нету, ванной нету, душа нету, но жить можно. — И заканчивает: — В Москве правды нет! — И обводит так рукой.

А говорит-то он на фоне Президиума ЦК! «В Москве правды нет!» И хоть и смеялись во время его выступления, — когда он кончил, как-то стало страшновато.

Ну, вот так шел этот первый день. Рубали на куски так все инакомыслящее, так сказать, жевали прежнюю жвачку Ленинских гор, только уже на одной ноте, контрапункта не было. Не было такого, что выступает Грибачев, а ему отвечает Щипачев. Выступает такой-то, а ему отвечает Эренбург. Нет, все в одну трубу, главным образом по Эренбургу.

И вот пока это заседание шло, запомнил я лицо Козлова. Сидел он не двигаясь, не мигал. Прозрачные глаза, завитые волосы, холеное лицо и ледяной взгляд, которым он медленно обводил зал, как будто бы все время пережевывал этим взглядом собравшихся. Так холодно глядел.

А Хрущев все время кипел, все время вскидывался, и Ильичев ему поддакивал, а остальные были недвижны.

Пришлось в этот первый день выступать и мне. И опять выяснилась на этом выступлении какая-то удивительная сторона Хрущева.

От меня ждали покаянного выступления. Поэтому едва я записался, мне тут же дали слово. Я даже не ожидал, — моментально.

Я вышел и с первых слов говорю:

— Вероятно, вы ждете, что я буду говорить о себе. Я говорить о себе не буду, эта тема, как мне кажется, недостаточно значительная для данного собрания. Я буду говорить о двух моментах. Я прежде всего хочу поговорить о картине Хуциева.

И начал заступаться за картину Хуциева и, в частности, разъяснять смысл эпизода свидания отца с сыном, когда сыну мертвый отец, и кончается этот разговор тем, что он спрашивает его: «Как же мне жить?» — а отец отвечает: «Тебе сколько лет?» — «Двадцать два». — «А мне двадцать», — отвечает отец и исчезает.

Я и говорю Хрущеву: ведь смысл этого в том, что: ты же старше меня, ты должен понимать, я же понимал в твои годы и умер за Советскую власть! А ты что?

И вдруг Хрущев мне говорит:

— Не-ет, нет-нет-нет, — перебивает он меня. — Это вы неправильно трактуете, товарищ Ромм, неправильно трактуете. Тут совсем другой смысл. Отец говорит ему: «Тебе сколько лет?» — «Двадцать два», — и исчезает. Даже кошка не бросит котенка, а он в трудную минуту сына бросает. Вот какой смысл.

Я говорю:

— Да нет, Никита Сергеевич, вот какой смысл.

Он опять:

— Да нет!..

Стали мы спорить. Я слово, он — два, я слово — он два. Наконец, я ему говорю:

— Никита Сергеевич, ну пожалуйста, не перебивайте меня. Мне и так трудно говорить. Дайте я закончу, мне же нужно высказаться!

Он говорит:

— Что я, не человек, — таким обиженным детским голосом, — что я, не человек, свое мнение не могу высказать?

Я ему говорю:

— Вы — человек, и притом первый секретарь ЦК, у вас будет заключительное слово, вы сколько угодно после меня можете говорить, но сейчас-то мне хочется сказать. Мне и так трудно.

Он говорит:

— Ну вот, и перебить не дают. — Стал сопеть обиженно. Я продолжаю говорить. Кончил с картиной Хуциева, завел про Союз. Союз-то наш был накануне закрытия⁹. Состоялось постановление Секретариата ЦК, чтобы ликвидировать Союз кинематографистов, и уже была назначена ликвидационная комиссия. Все! Союза, по существу, уже не было. Но я сделал вид, что не знаю этого постановления Секретариата. И сказал, что вот ходят слухи о ликвидации Союза, но, мол-де, Союз по таким-то, таким-то и таким-то причинам нужен.

Он меня перебивает:

— Нет, разрешите перебить все-таки вас, товарищ Ромм. Это все должно делать Министерство культуры.

Я ему говорю:

— Министерство культуры не может этого делать, у него для этого возможностей нет. Скажем, послать творческую комиссию в Азербайджан или куда-то. Да кроме того, это денег будет стоить. Ведь наш-то Союз ничего не стоит государству, мы же на самококупаемости.

Закончил я выступление. Потом выступил Чухрай, он хорошо уловил необходимый тон. Начал он с того, как он рубал абстракционистов в Югославии, как держался, а закончил так же: что нужно сохранить Союз.

И вдруг Хрущев объявляет перерыв и после перерыва начинает так:

— А знаете, товарищи, раскололи наши ряды кинематографисты. Вот мы было уж закрыли им Союз, а вот послушали и подумали: а может, оставить?

Ну, мы вскочили и говорим:

— Оставить!

— Давайте оставим. Только вы уж смотрите!

Нет, вы подумайте: накануне Секретариат ЦК запретил, я сказал несколько слов, несколько слов добавил Чухрай, и он решил — оставить!

Вы знаете, даже радости от этого не было.

Я подумал: вот так решаются дела! Вот так закрылся Союз по доносу Грибачева или кого-нибудь еще. Вот так остался. Да не Грибачева. Ильичев его — Союз — не любил. Он закрыл, а этот открыл. А на этом заседании в основном-то ведь собрались еще ликвидировать и Союз писателей, слить его с Союзом художников, композиторов и т. д., ликвидировать парторганизацию Союза писателей (она, кстати, была ликвидирована, а у нас почему-то была организована, наоборот).

Вот так это все было. Так протянулся этот первый день, а в перерывах жрали в буфетах чудные закуски и обменивались недоуменными, тревожными взглядами. В перерыве подошел ко мне казахский крупный кинематографист и говорит: «Вы меня простите, Михаил Ильич, ваша картина "Девять дней одного года" — на Комитете по Ленинским премиям мы ее забаллотировали, это не значит, что мы к ней плохо относимся, мы ее очень высоко ценим, но, сами понимаете, было нужно, нам это сказали, так что вы на меня не сердитесь, пожалуйста».

Ну, я сказал: не буду сердиться, не буду.

И то же самое молча сказал мне Завадский. Подошел, пожал плечами, вытянул руки, что-то промычал, не сказавши ни слова, поднял брови, — отошел.

Ну, в общем, все-таки первый день показался не очень страшным. Как-то прошел он мутно, но ничего чудовищного не произошло.

Разошлись, назавтра было назначено продолжение.

Второй день в Кремлевском зале, или Как откровенен был Никита Сергеевич Хрущев в присутствии 650-и человек, как он раскрылся, какие поразительные истории он нам рассказывал — дворцовые истории

И вот наступил второй день, так сказать, третья моя встреча с Хрущевым.

Пришли мы в тот же зал, те же люди сели на прежние места. Оглянулся я, а позади меня молодой человек в аккуратном костюмчике. Ну, думаю, надо быть сдержанным в выражении чувств. И в ту же минуту мне сидящий рядом Райзман говорит: «Миша, будьте сдержанны». То же самое я тихо сказал Тарковскому.

И тут вошел президиум, вышел добрый, веселый, полный жизненных сил Хрущев, за ним все остальные. Постояли, поаплодировали, сели. Козлов уставился своими ледяными глазами в зал, приготовился жевать его взглядом. Поразительны были неподвижность его лица, тренированность исключительная. Оно не выражало ничего.

А Хрущев начал очень весело, начал так:

— Ну что ж, товарищи, должен сказать — вчерашнее предупреждение подействовало. Подействовало! Ничего не просочилось. Даже могу сказать: вчера были приемы в некоторых посольствах, так просто из осторожности, очевидно, не явился почти никто. Даже вот так. Так что, в общем, хорошо, хорошо. Ну-с, давайте продолжать.

Ну, начали продолжать.

Начался день как-то скучновато. Все та же жеванина, все та же жвачка, родство поколений, спасибо Никите Сергеевичу, искусство питается соками народа, — все остальное так и пошло, шло, шло...

Да вот, пожалуй, интересное было выступление Турсун-заде, забавное. Он долго говорил о том, как он благодарен партии и правительству и как мы все не понимаем, насколько мы хорошо живем, и как нам легко дышится, а что вот в буржуазных странах совсем не так и плохо дышится, что был он в Афганистане, в столице, и увидел там следующее поразительное зрелище: стоит незаконченный мавзолей, чуть-чуть не законченный, и около мавзолея лежит в пыли совершенно худой, истощенный и умирающий человек и с безнадежной тоской во взоре смотрит на этот мавзолей. Якобы Турсун-заде спросил: кто этот человек и почему он с такой тоской смотрит на этот незаконченный мавзолей, а ему объяснили, что это здешний крупный архитектор, мавзолей он строил на собственные деньги, денег не хватило, мавзолей он не достроил и умер.

Тут всех охватило некоторое изумление, потому что, ежели он умер, почему же он лежит в пыли и взирает с тоской во взоре?

И сколько лет он лежит перед этим мавзолеем? А ежели он не умер, то почему же он не умер? И сколько, и когда, и в какие часы он смотрит на мавзолей?

И все эти вопросы задавали Турсун-заде в первом перерыве, но тот только сердился и отвечал, что не понимают они поэтической метафоры.

И больше ничего забавного, так сказать, не было, пока не выступила Ванда Василевская со своим элегантным доносом, о котором я говорил, а объявлено было, что после Василевской выступает Налбандян.

Но, очевидно, к этому доносу на Вознесенского решено было придаться, потому что, едва мадам закончила свою высокоиндейскую речь, как встал Хрущев и говорит:

— Что ж, товарищи, тут вот должен выступить Налбандян, но, может быть, мы попросим у него извинения, немножечко отложим его слово, а послушаем сейчас товарища Вознесенского, а?

Ну, Налбандян говорит:

— Пожалуйста, пожалуйста.

Выступление-то его было простейшее, он его произнес под самый конец, уж его откладывали раз семь. Дело в том, что он просто хотел поблагодарить Никиту Сергеевича за то, что с него сняты «оковы». А оковы заключались в том, что он изображал Сталина и поэтому чувствовал себя все время виноватым. А вот сейчас эти оковы наконец сняты, он себя виноватым больше не чувствует, спасибо.

Ну, а в подтверждение того, что он себя виноватым не чувствует и что оковы с него, так сказать сняты, он все время, пока его речь откладывалась, рисовал наброски с президиума, отдельно Хрущева, выступающих. Очевидно, готовил большое новое полотно: встреча интеллигенции с партией и правительством. Но как-то, очевидно, не успел закончить это полотно, так как Хрущев был преждевременно снят.

Ну-с, вот, вышел Вознесенский. Ну, тут начался гвоздь программы. Я даже затрудняюсь как-то рассказать, что тут произошло. Вознесенский сразу почувствовал, что дело будет плохо, и поэтому начал робко, как-то неуверенно. Хрущев почти мгновенно его прервал — резко, даже грубо и, взвинчивая себя до крика, начал орать на него. Тут были всякие слова: и «клевета», и «клеветник», и «что вы тут делаете?», и «не нравится здесь, так катитесь к такой-то матери», «мы вас не держим». «Вам нравится там, за границей, у вас есть покровители — катитесь туда! Получайте паспорт, в две минуты мы вам оформим. Громыко здесь?» — «Здесь». — «Оформляйте ему паспорт, пусть катится отсюда!»

Вознесенский говорит: я здесь хочу жить!

— А если вы здесь хотите жить, так чего ж вы клеветаете?! Что это за точка зрения из сортира на Советскую власть!

И так далее. Трудно даже как-то и вспомнить весь этот крик, потому что я не ожидал этого взрыва, да и никто не ожидал, — так это было внезапно. И мне даже показалось, что это как-то несерьезно, что Хрущев сам себя накачивает, взвинчивает. Пока вдруг во время очередной какой-то перепалки, когда Вознесенский что-то пытался ответить, Хрущев вдруг не прервал его и, обращаясь в зал, в самый задний ряд, не закричал:

— А вы что скалите зубы! Вы, очкарик, вон там, в последнем ряду, в красной рубашке! Вы что зубы скалите? Подождите, мы еще вас выслушаем, дойдет и до вас очередь! Кто это?

Ему кричат:

— Аксенов.

— Ах, Аксенов? Ладно, послушаем Аксенова. Ну, продолжайте, — это он Вознесенскому.

Вознесенский не знает, что продолжать, говорит:

— Я честный, я за Советскую власть, я не хочу никуда уезжать.

Хрущев машет рукой:

— Слова все это, чепуха.

Вознесенский говорит:

— Я вам, разрешите, прочту свою поэму «Ленин».

— Не надо нам вашей поэмы.

— Разрешите, я ее прочитаю.

— Ну, читайте.

Стал читать он поэму «Ленин»¹⁰. Читает, но не до чтения ему: позади сидит Хрущев, кулаками по столу двигает. Рядом с ним холодный Козлов, Ильичев, который что-то на ухо Хрущеву говорит.

Прочитал он поэму, Хрущев махнул рукой:

— Ничего не годится, не годится никуда. Не умеете вы и не знаете ничего! Вот что я вам скажу. Сколько у нас в Советском Союзе рождается ежегодно людей?

Ему говорят: три с половиной миллиона.

— Так. Так вот, пока вы, товарищ Вознесенский, не поймете, что вы — ничто, вы только один из этих трех с половиной миллионов, ничего из вас не выйдет. Вы это себе на носу зарубите: вы — ничто.

Ну, разумеется, Хрущев не знал, что он в этот момент только цитировал знаменитое изречение Гитлера, которое было напечатано — на открытках, на альбомах печаталось в третьем рейхе — и которое звучало так: ты — ничто, твой народ — это все («Du bist nichts, dein Volk ist alles»). Так вот, повторил он это и предложил Вознесенскому зарубить на носу, что он — ничто.

Вознесенский молчит. Что уж он там пробормотал, не знаю, не помню, и Хрущев заканчивает так:

— Вот что я вам посоветую. Знаете, как бывает в армии, когда поступает новобранец негодный, неумеющий, неспособный? Прикрепляют к нему дядьку, в былое время из унтер-офицеров, а сейчас из старослужащих солдат. Так вот, я вам посоветую такого дядьку. Возьмите-ка в дядьки к себе Грибачева. Это верный солдат партии, он вас научит писать стихи, научит уму-разуму. Товарищ Грибачев, возьметесь обучить Вознесенского?

Грибачев с места:

— Возьмусь!

— Ну, вот так. Берите Грибачева в дядьки и запомните это. Идите. Ну, вы там, вы что скалили зубы, ну вы там, в очках, пожалуйте сюда.

Встает какой-то человек в задних рядах:

— Я?

— Да нет, рядом.

Встает другой:

— Я?

— Вы, вы, вы!

Идет по проходу человек, действительно, в очках, в красной рубашке под пиджаком, без галстука. Не знакомый никому, худенький такой человек.

Ну, тут от этого крика хрущевского на Вознесенского, вы знаете, всю эту толпу интеллигентов охватило какое-то странное, жестокое возбуждение. Это явление — Толстой здорово его описал в «Войне и мире», когда там Ростопчин призывал убить купеческого сына, и как толпа вся, друг друга заражая жестокостью, сначала не решалась, а потом стала делать это дело.

Идет этот человек по проходу, а на него кричат. Кто-то кричит: «Негодяй! Красную рубашку в ЦК надел!»

Он говорит:

— У меня нет другой.

— Иди, иди, отвечай за свои дела!

Со всех сторон вскакивают какие-то Смирновы, какие-то Васильевы, какие-то еще рожи.

Выходит он. Хрущев ему:

— Вы — Аксенов?

Тот говорит:

— Нет, я не Аксенов.

— Как не Аксенов? Кто вы?

— Я... я — Голицын!

— Что, князь Голицын?

— Да нет, я не князь, я... я — художник Голицын, я... художник-график... я реалист, Никита Сергеевич, хотите, у меня вот тут есть с собой работы, я могу показать...

Хрущев так осекся, говорит:

— Не надо! Ну, говорите.

Тот:

— А что говорить?

— Как — что? Вы же вышли, говорите!

— Я не знаю, что говорить... я... не собирался говорить.

— Но раз вышли, так говорите. Тот молчит.

— Но вы понимаете, почему вас вызвали?

Голицын говорит:

— Да... я не понимаю...

— Как — не понимаете? Подумайте.

Он говорит:

— Может быть потому, что я стихотворению товарища Рождественского аплодировал или Вознесенского?

— Нет.

— Не знаю.

— Подумайте и поймете.

Голицын молчит.

— Ну, говорите. Голицын:

— Может быть, я стихи читаю?

— Какие стихи?

— Маяковского, — говорит Голицын.

И тут в зале раздался истерический смех, потому что это нервное напряжение уже было невыносимо. Сцена эта делалась уже какой-то сюрреалистической, это что-то невероятное: этот художник-график, который не знает, что говорить, и орущий на него Хрущев, который, думая, что это Аксенов, споткнулся.

Наконец, когда он сказал — Маяковского, Хрущев сказал:

— Не надо, идите.

Голицын пошел и вдруг обернулся, и говорит:

— Работать можно?

Хрущев:

— Можно.

Ушел Голицын.

Хрущев говорит:

— Аксенова. Вы извините, товарищ Налбандян, мы отложим ваше выступление. Давайте сюда товарища Аксенова.

Дело в том, что Голицын-то сидел рядом с Аксеновым, вот из-за чего недоразумение-то произошло. Хрущев заметил какую-то

улыбку Голицына, стал орать. Люди решили, что он орет на Аксенова, а он вызвал Голицына.

Ну, тут вышел Вася Аксенов. С места в карьер на него Хрущев:

— Вам что, не нравится Советская власть?

Тот говорит:

— Да нет, я стараюсь писать правду, то, что думаю.

— Ваш отец был репрессирован? — говорит Хрущев¹¹. Аксенов:

— Мой отец посмертно реабилитирован.

— Это он научил вас ненавидеть Советскую власть и клеветать на нее?

Аксенов:

— Я ничего дурного от отца не слышал. Мой отец был членом партии, верным коммунистом.

Ну как закончил Аксенов, уж не помню. А между тем самовозбуждение Хрущева все нарастало, и каждые десять минут выходил бесшумный молодой человек и тихо ставил перед ним стакан с каким-то питьем, накрытый салфеточкой. Хрущев все отхлебывал, и мне уж стало казаться: да не допинг ли это?

Выступление Налбандяна все откладывалось. Из реприз Хрущева запомнилась одна:

— Вы что, захотели клуба Петефи?¹² Не будет этого! Знаете, как в Венгрии началось? Все началось с Союза писателей. Там был клуб Петефи, а потом восстание. Так вот, не будет вам клуба Петефи, не допустим.

Ну, и еще одна реприза заслуживает того, чтобы упомянуть ее. Хрущев вдруг сказал:

— Вы что, думаете, мы арестовывать разучились?

Ну, наконец, слово было предоставлено Налбандяну, он отложил очередной эскиз, сказал свое спасибо Никите Сергеевичу, сел. Ну, и последовало заключительное слово Хрущева. Ба-альшой аттракцион!

Начал он, помнится, с того, что стал извиняться, что погорячился, покричал, ну, мол, не обессудьте, дело важное и погорячиться можно.

Потом стал объяснять нам, что такое хорошее искусство, на образных примерах. Вот такое...

— Вот идешь зимой ночью — лунная ночь — по лесу. Снег лежит под луной голубой такой, сосны, ели в снегу, глядишь — какая ж красота! И думаешь: вот это бы кто-нибудь нарисовал. Так ведь не нарисуют же, а если нарисуют, так не поверят, скажут: так не бывает! А ведь бывает в жизни эта красота! Зачем же ходить в сортир за вдохновением? Вот был у меня друг-шахтер...

И опять читает какие-то стихи какого-то шахтера. Потом перекочевал на тему об антисемитизме и об Эренбурге — тот ему покоя не давал.

— Вот все акцентируют тему антисемитизма, — говорил Хрущев. — Да нет у нас антисемитизма и быть не может. Не может... не может... Вот я вам приведу в доказательство пример: знаете ли вы, кто взял в плен Паулюса? Еврей, полковник-еврей. Факт неопубликованный, но факт. А фамилия-то у него такая еврейская. Катерина Алексеевна, ты не помнишь, как его фамилия? Не то Канторович, не то Рабинович, не то Абрамович, в общем, полковник, но еврей¹³. взял в плен Паулюса. Это факт, конечно, не опубликованный, неизвестный, естественно, но факт. Какой же антисемитизм?

Слушаем мы его, и после этого сюрреалистического крика уж совсем в голове мутно, ни-ичего не понимаем. Хочется спросить:

— Ну, и что? И почему факт не опубликован, интересно знать?

А тот между тем продолжает:

— Или вот другой факт, тоже факт. Было, когда я в Америке ехал из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Ну, тут, конечно, шикарное шоссе, эскорт на мотоциклах, открытая машина. Едем мы. А у американцев есть такой обычай: стоят на обочине и голосуют, руку подняв, значит, просят подвезти. Я говорю: «А почему нам не взять в машину одного простого американца? Подвезем, поговорим. Чем мы не люди?» Увидел первого, говорю: «Вот этого возьмем». Взяли. «Куда вам?» — «В Сан-Франциско». — Поехали. И что ж вы думаете? Еврей. Еврей. Мы с ним поговорили, довез я его до Сан-Франциско, высадил, где ему было нужно.

Где ж вы находите антисемитизм? Нету антисемитизма. Какой может быть антисемитизм? Ну, правда, был вот — я, помню, еще шахтером был — один рабочий, участвовал, ну, так сказать, участвовал, но ведь и городских он тоже бил, между прочим.

Тоже неясное заявление. А после этого пошла уж совсем странная игра. Начал Хрущев рассказывать такие вещи, что, по-моему, и президиум при всей своей выдержанности этого не ожидал.

— Вот, товарищ Эренбург пишет — он-де уже понял — понял! — после тридцать седьмого года понял или после войны, — понял, что Сталин и прочее... Понял, но вынужден был молчать; выходит — он понял, а мы не понимали. А если понял, почему молчал? Выходит, все молчали? Нет, товарищ Эренбург, не все молчали, многие не молчали. Вот я вам приведу пример. Было это, не помню в каком-то году, был я в Западной Украине, ну, там бендеровцы, то, другое, был я тогда секретарем. Вдруг по ВЧ меня вызывают из Москвы, — Сталин. Что такое? «Никита (он меня Никитой на-

зывал), ты когда можешь прилететь в Москву?» Я говорю: да хоть сейчас. — «Садись, прилетай. Тут важней».

Прилетел, вызывает он меня к себе: «Вот что творится, Никита, ты посмотри. Вот список: сто восемьдесят человек — заговор на мою жизнь, и во главе секретарь МК, — и подает мне список. — Я тебе верю, Никита, разберись, в чем дело».

Я беру этот список, проверяю: ну, чепуха, секретари райкома, инструкторы, хорошие ребята, ну, и там стоит действительно во главе секретарь МК¹⁴. Мы с Маленковым посоветались: что же нам делать с этим секретарем-то. Решили: пока переведем его скорее в Горький. Вызвали его, еле уговорили: «Едешь в Горький». А тот еще на дыбы: «За что в Горький? За что...» — «Поезжай, пока руки-ноги целы, не спорь». Поехал.

Дня через три вызывает меня Сталин: «Что, расследовал?» Я ему говорю: все клевета, Иосиф Виссарионович, люди честные, готовы за вас жизнь положить.

«Проверил точно?» — «Точно, проверил», — и отдаю ему обратно список. Он берет список и говорит: «Ох, подлецы, подлецы, на какое ж дело идут — клеветают на невинных людей». Вот Екатерина Алексеевна здесь сидит, помнит это дело. Помнишь, Катерина Алексеевна? Так было ведь? А вы, товарищ Эренбург, говорите: все молчали. Не все молчали.

Здесь товарищ Эренбург?

Но товарищ Эренбург уже ушел. На нем уже верхом проскакал и Ермилов, и другие, и столько его поминали, что старик не выдержал и ушел с этого второго заседания, кажется, именно в тот момент, когда рев шел и Вознесенского долбали.

— Нет Эренбурга? М-да. Вот он говорит. Вы думаете, легко было нам? Ведь, между нами говоря, — говорит Хрущев, понизивши голос и забывая о том, что в зале сидит ровным счетом шестьсот пятьдесят человек, — между нами говоря, это же был сумасшедший в последние годы жизни, су-ма-сшедший. На троне, заметьте.

Вот я приведу вам пример, между нами: готовился (это в пятьдесят втором году) XIX партийный съезд. Вызывает нас пятерых Сталин к себе и говорит: «Товарищи, предстоит ответственный партийный съезд, будет приниматься новый Устав партии, будет выбран президиум. Кого выберут в президиум? Политбюро в полном составе. А ведь у нас в Политбюро шпионы. Молотов — шпион, Ворошилов — шпион...»

Ну, тут все присутствующие стали быстро подсчитывать, каких же пятерых он вызвал? Ну, это не трудно разумеется, установить.

— «Так вот, что же делать? Нехорошо, если в президиуме такого ответственного съезда решения будут приниматься в присутствии шпионов». Что делать? Мы, конечно, молчим. Тогда Сталин говорит: «Я предлагаю выбрать рабочее бюро президиума в очень ограниченном составе, и список я составлю сам». Ну, все конечно, принимают такое предложение.

Назавтра мы приходим, ну, и Сталин дает мне список. Там пять человек и Ворошилов. Ну, раз он дал — что ж. Я оглашаю список на съезде. Его, разумеется, принимают единогласно. Рабочее бюро президиума утверждено, и сразу после первого заседания съезда рабочее бюро президиума является к Сталину на заседание.

Тот ходит, курит трубку, молчит. Сердитый такой, мрачный. Не говорит ничего. Долго ходил, все молчал. Ну, он молчит, и мы, конечно, молчим. Потом он говорит: «Сегодня рабочее бюро заседать не будет, все свободны». Ну, все пошли, и с полдороги нас пятерых-то и вернули. А Ворошилова не вернули.

И, как вернулись, стал он говорить: что же это происходит? Специально назначается рабочее бюро президиума, чтобы не проникли шпионы, и в него проникает шпион Ворошилов. Вот как работают враги!

Тогда я вынимаю бумажку, которую мне Сталин передал. Я его бумажки не терял, товарищи, и передал ему: вот Иосиф Виссарионович, ваша рука. Тот читает: «Да, моя рука, сам вписал шпиона. Стар стал. Не могу уже больше руководить партией. Пора кого-нибудь мне на смену». И вдруг повернулся к нам, и сразу так: «Верно, а?» Ну мы, конечно: ну что вы, Иосиф Виссарионович, да что вы, да работайте, да вы еще так... да это случайность — то и другое. Он на нас смотрел, каждому в глаза заглянул, потом сказал: «Ну ладно, идите».

Ведь вот как бывало. А вы думаете, легко! Это товарищ Эренбург думает, что легко было. Только он, видите ли, понял и молчал. А мы... Нет, не все молчали, товарищ Эренбург.

Или вот другой случай, тоже, товарищи, между нами.

Как-то осенью отдохали мы все на юге, на побережье. Ну, и Сталин там отдыхал. Каждый в своей даче, конечно. Как-то еду я, так, вечером, ближе к вечеру, а навстречу мне такой-то (называет фамилию тоже члена Политбюро). Я ему: «Ты откуда?» — «От Сталина». — «Что так?» — «Да прогнал». — «Как прогнал?» — «Да вот так. Сам вызвал, а потом выгнал, вот, еду домой». — «А в чем дело?» — «Понятия не имею. Вызвал, а потом — пошел вон, вот и все. И вот, иду домой».

Так, думаю, неважные у тебя какие-то дела. Надо, пожалуй, на дачу к себе возвращаться.

Возвращаюсь на дачу. Только сел обедать — звонок. Что такое? «Никита Сергеевич, вас просят». — Подхожу. «Пожалуйста к Сталину, вызывает».

Я думаю: ах ты господи боже мой, и пожрать-то не дает. Ведь это так трудно, вы себе... вы только думаете, что легко. Это — нервы напряжены, и водку нужно пить все время. И все время начеку. Да ну, к чертовой матери, думаю, хоть бы отдохнуть дал! Нет, думаю, пообедаю дома.

Ну, сию, ем. Второй звонок: Поскребышев или там... «Никита Сергеевич, Иосиф Виссарионович просит вас немедленно приехать».

Ну что тут делать. Сел — поехал.

Приехал я к нему на дачу, ну, он меня что-то не вызывает. Отвели меня в комнату, которая мне предназначена. Ну, ужин. Ну, поел, вышел в сад — нету. Походил по дому — нету. Посидел, подождал-подождал-подождал — не зовет. Ну что я буду делать? Ну сколько можно ждать? Ждал-ждал, ну, лег спать. Утром просыпаюсь — не зовет. Позавтракал — не зовет. Решил: дай погуляю по саду. Пошел по саду гулять, смотрю, с Берией он в беседке сидит, о чем-то по-грузински говорят, смеются. Я думаю: что делать? Ведь он меня не звал, идти-то не полагается. А не пойти тоже как-то неудобно. Думаю: дай-ка, пройду мимо. Прохожу мимо — не замечает. Ну, думаю, чем черт не шутит, дай-ка пройду второй раз мимо. Прохожу второй раз, он вдруг меня окликает: «Ты чего здесь? Уходи». Уходи! Я ушел. Но ведь он сказал «уйди», а не уезжай. Ты чего здесь делаешь, чего тебе здесь надо? Уходи. Ведь это, товарищи, надо было все понимать, какой в этом смысл — уезжай совсем или уходи временно? Я решил — погуляю. Ведь я знаю, тут в горах под каждым кустом телефон, если я буду нужен, тут же мгновенно появятся.

Ушел я, гуляю себе так, по горкам. Хожу час, хожу два. Действительно, из-под куста, как из-под земли, вырастает какой-то лейтенант: «Товарищ Хрущев, вас просит товарищ Сталин».

Повернулся, пошел. Стоит веселый — хохочет: «Ты куда девался? Поедем рыбу ловить, я тебя за этим вызывал».

Ведь вот как бывало. Вот как бывало, товарищи! А вот товарищ Эренбург думает, что это легко.

Вот это сюрреалистическое заседание, с этими рассказами Хрущева, оно, пожалуй, было венцом этих происшествий, более яркого я что-то не упомяну.

Пошел я домой, думаю: ну что из этого всего впоследствии? Даже последние слова Хрущева были какие-то возвышенные, что-то провозглашал он, призывал. Но какие тут призывы? Смятение у всех. Что делать? Что будет?

А назавтра парторганизацию писателей действительно разогнали, и членов партии, писателей, раскрепили — кого куда: кого на «Мосфильм», кого в издательство, а некоторые к парторганизации зоопарка прикрепились, потому что она рядом, зоопарк-то рядом с Союзом писателей. Вот так. И не стало парторганизации в Союзе писателей. Единственный Союз, где нет парторганизации. В случае чего — нет парткома. Есть парторг, а это совсем-совсем другое.

Ну, дальше как дела шли, все известно.

Четвертая встреча с Н. С. Хрущевым.

Состоялась эта встреча на июньском Пленуме ЦК¹⁵, отличалась она необыкновенной помпезностью, хорошими обедами и огромным количеством присутствующих. На Пленум было приглашено больше двух тысяч гостей.

Июнь. Следовательно, с марта по июнь я ждал своей судьбы. Ведь жалобы-то от Грибачева, Софронова и Кочетова были поданы в Президиум ЦК в очень резкой форме. Грибачев и Кочетов — один из них кандидат в члены ЦК, другой — член Ревизионной комиссии, так что дело нешуточное. Но я все ждал, ждал, ждал, и все до меня доходили сведения, что собирается материал. Материал собирают и во ВГИКе, и в Союзе, и в Комитете, и на «Мосфильме». По разным линиям собирают материал. Я все ждал, что будет. Наконец, мне сказали: очевидно, после июньского Пленума будет разбираться ваше дело, а может быть, и на самом Пленуме. Это плохо.

Ладно. И вот наконец состоялся Пленум. Сделал Суслов доклад по китайскому вопросу, Ильичев — по вопросам культуры. Пошли обыкновенные речи. Я, признаться, все это забыл, да и все это было известно, и сейчас не могу вспомнить, что же там говорилось. Только несколько таких черт запомнилось мне. Вот эти несколько черт я и хочу сообщить.

Прежде всего поразило меня поведение высокой интеллигенции, так сказать, верхушки нашей.

Члены союзов писателей, художников и композиторов находились в недоумении и тоске, ибо эти три союза должны были быть слиты. И в кулуарах все спрашивали друг друга: что же мы будем делать, скажем, на пленумах союза? Неужели живописцы будут обсуждать вопросы музыки, а музыканты — романы, повести и рассказы? Ведь не может же быть, чем же мы будем заниматься?

Но, несмотря на это недоумение, руководство наших союзов восторженно приветствовали это слияние — приветствовали с тоской и недоумением во взоре, но приветствовали.

Трусливее всех, пожалуй, оказался Федин, потому что Тишке Хренникову, по-моему, было все равно. Но Федин, он производил просто жалкое впечатление, ну просто безграничный трус.

Так или иначе, прошли эти речи, а я все жду, до меня все не доходят. Наконец, не то уж на третий день, что ли, доходит дело до выступления Павлова. Начинает Павлов с вопросов целины, производства, всякие такие торжественные мотивы, идет по целине, шагает, ну и дошагал, наконец, говорит:

«Некоторые вот тут предъявляют претензии к нашей молодежи. А чего мы можем требовать от нашей молодежи, если среди ставников этой молодежи числятся такие, с позволения сказать, профессора, как Михаил Ромм, который пропагандирует общечеловеческую мораль и лирическое...»

Что «лирическое», он не договорил, потому что вдруг его прервал Хрущев. «О шатаниях товарища Ромма нам известно, — сказал Хрущев. — Мы сами разберемся в этом вопросе. — Помолчал и добавил: — Но мы надеемся, что этот крупный мастер еще встанет на ноги».

Ну, я, правда, тоже надеялся, что «встану на ноги», но, во всяком случае, понял, что продолжаться речь Павлова не будет. Действительно, Павлов нежно улыбнулся, перелистнул страничку и пошел дальше шагать по целине.

Я сижу в некотором недоумении, так и не понимаю — что это, угроза? Или, наоборот, индульгенция? Хорошо уж, по крайней мере, что речь Павлова прервана. А окружающие меня интеллигенты не глядят на меня, смотрят куда-то вдаль мутным взором таким, и искоса вдруг, быстро так, воровским взглядом, — что делает он? Что я чувствую?

Ну, я не чувствовал ничего, кроме муги.

Во время перерыва спустился я вниз. Ну, все тут бросаются мгновенно обедать и завтракать. У меня что-то аппетита не было, пошел я книжки выбирать в ларьке, вечную ручку, что ли, купил. И вдруг подходит ко мне тоже один из представителей нашей высокой интеллигенции и тихо говорит:

— Я вас не понимаю.

— А что?

— Ну как вы можете покупать вечную ручку в такую минуту?

— А что же мне делать?

— Да ведь Павлов выступал. Хрущев выступал! Нет, это либо какое-то необыкновенное самообладание, либо бесчувственность, что ли?

Я не знал, что выбрать — самообладание или бесчувственность. Самообладание — что-то очень торжественно, поэтому я сказал:

— По-моему, бесчувственность.

Ну, на этом и кончилось. Опять пошло заседание, опять говорит очередной оратор. И вдруг очередного этого оратора опять прерывает Хрущев.

— Минуточку, — говорит он. И обращается к двум членам ЦК: — Вы что здесь ухмыляетесь? Вы, товарищ такой-то (по-моему, Жемерин это был) и — такой-то (казахская фамилия, один из секретарей Казахстана), что вам тут смешно? Вы находитесь на заседании ЦК, надо уметь вести себя прилично. Что вы, не хотите работать? Можно освободить! Как вы позволяете вести себя в присутствии членов Центрального Комитета партии! Безо-бра-зие!

У меня даже сердце упало. Я, признаться, и не думал, что на членов ЦК можно орать таким образом, как на мальчишек. Я, правда, слышал, как он орал на Вознесенского, на Голицына, но на членов ЦК!

После, в перерыве, пошел я вниз, что-то болит у меня под ложечкой, пошел я в амбулаторию, говорю:

— Дайте мне что-нибудь от печени.

— Почему от печени?

— Да болит под ложечкой.

— А почему вы думаете, что это печень?

— Ну, у меня больная печенка.

— Ну-ка, давайте.

Послушал меня врач, посмотрел, где болит.

— Что вы, — говорит, — да это не печень у вас. У вас стенокардия, это сердце.

Я говорю:

— Отродясь у меня не было стенокардии, и сердце у меня железное.

— Ну, вот не было, а теперь есть. Это у нас бывает.

Смотрю, а на одной койке лежит человек, дышит чем-то.

Кладет он меня, дает валидол, нитроглицерин. Полежал — пошел.

Ну, и после перерыва первым было дано слово этому казахскому члену ЦК. И он начинает с того, что приносит глубочайшее извинение за свое поведение Никите Сергеевичу Хрущеву. Не членам ЦК, не Центральному Комитету партии, а Никите Сергеевичу Хрущеву. Он просит учесть, что он всегда вел себя в высшей степени дисциплинированно, ни разу не нарушал порядков в Центральном Комитете партии, и что в данном случае он оплошал, потому что его Михалков попутал. Михалков-де рассказал очень смешной анекдот. Он с соседом своим, с этим Жемериным, что ли, ухмыльнулся, не сдержался, и вот такое бедствие произошло, он просит снисхождения к нему¹⁶.

Ну, так шло это заседание, не знаю, еще, что ли, день. Наконец, наступил заключительный день. В перерыве всем членам ЦК

и кандидатам роздали резолюцию по китайскому вопросу и резолюцию по культуре. Громаднейшие резолюции. Целые книжечки по каждому вопросу. Но дают только членам ЦК. Я думаю, так мы и не узнаем, в конце концов, что же постановили по вопросам культуры и что постановили по китайскому вопросу, но посмотрим, что будет.

Должно было быть здесь два заключительных слова — Ильичева и Суслова. Но перед этим несколько замечаний решил сделать Хрущев. Приготовили ему для этого какую-то записочку, страничек шесть, небольшая. Ну, думаю, минут пятнадцать пройдет, заключительные слова, и все, — отработали.

Он начал читать свои замечания, но уже после первой же странички отложил ее в сторону, надоело ему читать, и стал говорить. И проговорил он два с половиной часа. Ну никак невозможно вспомнить, что именно он говорил. Тут перемешались и вопросы политики, и китайский вопрос, и вопросы культуры, и крик на Некрасова, которого он предложил исключить из партии¹⁷, и еще какие-то необыкновенные откровения.

Но главный, что ли, аттракцион, был китайский. Излагать весь этот китайский вопрос смысла, конечно, нету, но одна часть была примечательна.

— Ведь у нас были очень хорошие отношения. На чем они поломались? Я вам расскажу, пожалуй, эту историю, только без опубликования. Пожалуйста, прошу, не надо опубликовывать это дело.

Случилось это так. Вот как случилось начало этой трещины.

Были мы в Индии. Встреча прекрасная. Настроение было... С народом все превосходно. Ну, и пришло мне в голову, говорю: «Давайте, товарищи, залетим в Пекин, это и недалеко тут, из Индии, крючочек. Залетим, поговорим там по нашим делам». Ну, залетели. И что же вы думаете? Принимает меня Мао Цзедун, как вы думаете, где? В бассейне. В бассейне принимает.

Что делать? Он хозяин, я — гость. Приходится плыть. Ну, и влезает мы в воду. Он плавает, и я плыву, а между нами переводчик. Но ведь он-то — призовой пловец, а я горняк, я же, между нами говоря, плаваю-то кое-как, я же бултыхаюсь, я же отстаю. А он плавает, козыряет. И все время всякие материи излагает, политические вещи. Переводчик мне это на плаву переводит, а я и ответить как следует не могу. И он получается передо мной в преимущественном положении. Ну, надоело мне это. Поплавал я, поплавал, думаю — да ну тебя к черту, вылезу. Вылез я на краешек, свесил ноги. И что же, теперь я наверху, а он внизу плавает. Он плавает, переводчик не знает, то ли с ним плавать, то ли со мной рядом сидеть. Он плавает, а я-то сверху вниз на него смотрю.

А он-то снизу вверх, он в это время говорит мне что-то про коммуны, про ихние эти коммуны. Ну, я уже отдышался и отвечаю ему про эти коммуны: «Ну, это мы еще посмотрим, что у вас из этих коммун произойдет». Теперь уж мне во много раз легче, раз я сел. Он и обиделся. Вот с этого все и началось, товарищи.

Ну, поразительная глубина политического мышления Хрущева. Она представила для меня какую-то дополнительную краску в этом разнообразном, мозаичном, так сказать, портрете.

Ну, в общем, добрался он до конца своей речи кое-как. Разумеется, это было под самый конец заседания, уже трудно было ждать чего-нибудь еще, ну и говорит он тогда:

— Что-то я заговорился, я вижу, регламент-то у нас уже кончается. А тут еще два заключительных слова.

И тут Хрущев дает нам предметный урок того, как он понимает вопросы внутривластной демократии и ленинских норм партийной жизни.

Обращается он к Суслову и говорит:

— Скажите, товарищ Суслов, вы настаиваете на заключительном слове?

Суслов говорит:

— Нет, не настаиваю.

Он к Ильичеву. Ильичев тоже не настаивает. Хрущев ухмыльнулся и говорит:

— Узурпировал я заключительные слова. Ну, ничего, вопрос и так ясен. Перейдем прямо к голосованию. Начнем с китайского вопроса. Сначала проголосуем резолюцию в целом. Книжечки розданы?

Розданы резолюции.

— Так, значит, голосуем: кто за эту резолюцию — поднимите руку.

Голосуют члены ЦК.

Все члены ЦК поднимают единогласно руки.

— Так, — говорит Хрущев, — проголосуем вместе с кандидатами.

Проголосовали.

— Так, — говорит Хрущев. И, помолчавши, вдруг вдохновенно произносит: — Товарищи, давайте будем демократичны! Проголосуем резолюцию со всем народом, со всеми приглашенными! Ведь сейчас разница между членом партии и беспартийным, так сказать, стирается. Вот я вам приведу пример. Подбирали мы однажды список на членов ЦК. Ну, подобрали одного человека. В общем подходящий, вроде, кандидат. Но что-то, помнится, что он беспартийный. Я говорю: «Товарищи, а вы проверили, он член партии?» — «Член партии». — «Проверьте еще раз». Проверили. И что ж вы думаете? Беспартийный! Ну вот, чуть беспартийного

не сделали членом ЦК. Вот до чего стирается грань между членами партии и беспартийными товарищами! Это в замечательное время мы живем. И вот, товарищи, давайте проголосуем всем народом, все вместе за эту резолюцию.

Но резолюцию-то ведь никто не читал, кроме членов ЦК. И Хрущев ее читать явно не собирается. Я тихо говорю соседям:

— Товарищи, неудобно, мы же не читали!

И мне в ответ шикают:

— Тихо! И так уж вы тут... позволяете себе!

— Кто за эту резолюцию? Голосуют все присутствующие! Прошу поднять руки.

И все поднимают, как один человек, руки за резолюцию, которую никто не читал.

Хрущев с удовлетворением отмечает, что никто не воздержался, против нету, и приступает к голосованию отдельных поправок.

— На странице тридцать девятой, — говорит он, — второй абзац предлагается исключить. Нашли второй абзац? Голосую.

И все мы хором голосуем за исключение неизвестного нам абзаца по неизвестному нам документу.

Проголосовали, разошлись, удовлетворенные, и даже какое-то такое лестное чувство у всех: смотрите-ка, голосовали все вместе со всем ЦК.

Вот такой был человек, этот Хрущев. Я на него, признаться, зла не держу. Он мне, в конце концов, в чем-то даже помог. Вот, по меньшей мере, прекратил чтение обвинительной речи Павлова. Поэтому дело-то мое после этого замерло. Его из Президиума ЦК спустили куда-то в МК, из МК в райком, а из райкома в партком. И оно, так сказать, затухло. Хотя заседание парткома было глубоко отвратительным, но это — другой рассказ.

Что ж Хрущев? Что-то было в нем очень человеческое и даже приятное. Но вот в качестве хозяина страны он был, пожалуй, чересчур широк. Эдак, пожалуй, ведь и разорить целую Россию можно.

В какой-то момент отказали у него все тормоза, все решительное. Такая у него свобода наступила, такое отсутствие каких бы то ни было стеснений, что, очевидно, это состояние стало опасным — опасным для всего человечества, вероятно. Уж больно свободен был Хрущев.

